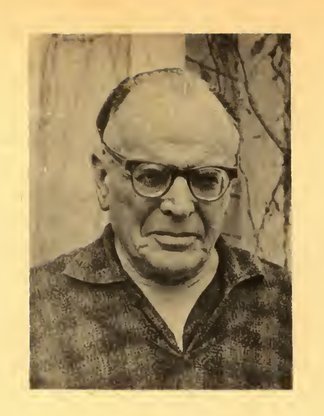


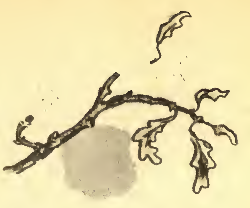
К. ПАУСТОВСКИЙ

# КОТ-ВОРЮГА

*РАССКАЗЫ*

Москва «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1980

Р2
П21



Константин Георгиевич Паустовский (1892—1968) родился в Москве, в семье железнодорожного служащего. Детство провёл на Украине. Учился в киевской гимназии и Киевском университете.

Переменил много профессий — был вожатым и кондуктором трамвая в Москве, матросом, рабочим на металлургических заводах в Донбассе и Таганроге, санитаром в старой армии во время первой мировой войны, служащим, преподавателем русской литературы, журналистом.

В гражданскую войну воевал в Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны был военным корреспондентом на Южном фронте.

Константин Георгиевич много путешествовал. Он бывал в Средней Азии, в Крыму, на Кавказе, в Прионежье, на Балтике. Но особенно горячо полюбил он Мещёру — сказочно красивый край между Владимиром и Рязанью, — куда приехал впервые в 1930 году. Бывал здесь и писатель Рувим Исаевич Фраерман. Вместе бродили они по лесам и лугам, рыбачили, встречались с местными жителями, наблюдали разных животных и птиц. Вот об этом и рассказывается в книжке «Кот-ворюга».

Отзывы об этой книге присылайте по адресу: 125047. Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

*Рисунки В. Горячевой*

**Паустовский К. Г.**

П21 Кот-ворюга: Рассказы/ Рис. В. Горячевой.— М.: Дет. лит., 1980.—32 с., ил. — (Читаем сами).
10 коп.

В книгу входят рассказы: «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Резиновая лодка» и «Жильцы старого дома».

П $\frac{70802-523}{М101(03)80}$ 210—80 Р2



## ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ

К ветеринару в наше село пришёл с Урженского озера Ваня Малявин и принёс завёрнутого в рваную ватную куртку маленького тёплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слёз глазами...

— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!

— А вы не лайтесь, это заяц особенный, — хриплым шёпотом сказал Ваня. — Его дед прислал, велел лечить.

— От чего лечить-то?

— Лапы у него пожжённые.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

— Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слёзы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

— Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу.— Чего вы, сердешные, вдвоём слёзы льёте? Ай случилось что?

— Пожжённый он, дедушкин заяц,— сказал тихо Ваня.— На лесном пожаре лапы себе пожёг, бегать не может. Вот-вот, гляди, умрёть.

— Не умрёть, малый,— прошамкала Анисья.— Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несёт его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слёзы и пошёл лесами домой, на Урженское озеро. Он не шёл, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошёл стороной, на север, около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашёл по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил на сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.

— Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня. — Ты бы поел.

Заяц молчал.

— Ты бы поел,— повторил Ваня, и голос его задрожал.— Может, пить хочешь?

Заяц повёл рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами.

Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.

Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрёл в город. Ваня нёс зайца сзади.

Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.

— Не то лошадь, не то невеста — шут их разберёт! — сказал он и сплюнул.

Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:

— Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш, специалист по детским болезням, уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

— Это мне нравится! — сказал аптекарь.— Интересные пациенты завелись в нашем городе! Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протёр, снова нацепил на

нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.

— Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрёпанную толстую книгу.— Три!

Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы как раз вовремя — из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи, и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полянами уже горел стог сена, зажжённый ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрёпанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился.

— Я не ветеринар,— сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром.— Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

— Что ребёнок, что заяц — всё одно,— упрямо пробормотал дед.— Всё одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!

Ещё через минуту Карл Петрович, старик с седыми взъерошенными бровями, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушёл на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришёл длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпьё и понёс домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:

«Заяц не продажный, живая душа, пусть живёт на воле. При сём остаюсь Ларион Малявин».

Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели и звёзды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, лязгал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далёкого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.

В августе дед пошёл охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался

зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошёл дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идёт прямо на него. Ветер перешёл в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шёл со скоростью тридцати километров в час.

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени.

Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идёт огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед — оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понёс домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

— Да,— сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной,— да, а



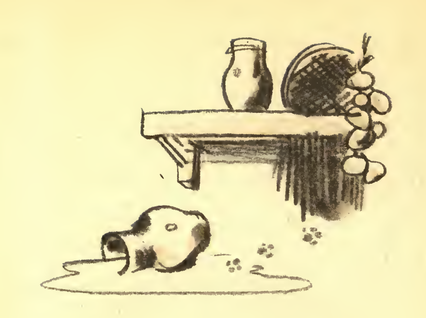
перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

— Чем же ты провинился?

— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарём и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял всё.





## КОТ-ВОРЮГА

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал всё: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля всё равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронёсся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями.

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нём было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а грабёж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на берёзу.

Мы начали трясти берёзу. Кот уронил колбасу; она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с берёзы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нём только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озёр. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях. Чтобы пройти к берегам озёр, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи жёлтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожжённые солнцем, со связками

серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых выходках рыжего кота.

Но наконец кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать.

Но кот не выходил. Он противно выл, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошёл час, два, три... Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Лёнька, сын деревенского сапожника. Лёнька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота.

Лёнька взял шёлковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днём плотицу и закинул её через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щёлканье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мёртвой хваткой. Лёнька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Лёнька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстие лаза.

Лёнька схватил кота за шиворот и поднял над землёй. Мы впервые его рассмотрели как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет, — сказал Лёнька, — у него с детства характер такой.

Кот ждал, зажмурив глаза.

Тогда Рувим неожиданно сказал:

— Надо его накормить как следует!

Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звёзды зелёными нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и тёрся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрёт себе шерсть на затылке.

Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.

На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склёвывать из тарелок гречневую кашу.

Кот, дрожа от негодования, подкрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.

Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух, прозванный Горлачом.

Кот нёсся за ним на трёх лапах, а четвёртой, передней, лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри у него от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.



После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошёл.

С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотнёй прятались под домом.

Кот ходил по саду, как хозяин и сторож. Он тёрся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.





## РЕЗИНОВАЯ ЛОДКА

Мы купили для рыбной ловли надувную резиновую лодку.

Купили мы её ещё зимой в Москве и с тех пор не знали покоя. Больше всех волновался Рувим. Ему казалось, что за всю его жизнь ещё не было такой затяжной и скучной весны, что снег нарочно тает очень медленно и что лето будет холодным и ненастным.

Рувим хватался за голову и жаловался на дурные сны. То ему снилось, что большая щука таскает его вместе с резиновой лодкой по озеру и лодка ныряет в воду и вылетает обратно с оглушительным бульканьем, то снился пронзительный разбойничий свист — это из лодки, распоротой корягой, стремительно выходил воздух, — и Рувим, спасаясь, сует-

ливо плыл к берегу и держал в зубах коробку с папиросами.

Страхи прошли только летом, когда мы привезли лодку в деревню и испытали её на мелком месте около Чёртова моста.

Десятки мальчишек плавали около лодки, свистели, хохотали и ныряли, чтобы увидеть лодку снизу.

Лодка спокойно покачивалась, серая и толстая, похожая на черепаху.

Белый мохнатый щенок с чёрными ушами — Мурзик — лаял на неё с берега и рыл задними лапами песок.

Это значило, что Мурзик разлаялся не меньше чем на час.

Коровы на лугу подняли головы и все, как по команде, перестали жевать.

Бабы шли через Чёртов мост с кошёлками. Они увидели резиновую лодку, завизжали и заругались на нас:

— Ишь, шалые, что придумали! Народ зря мутитя!

После испытания дед «Десять процентов»[1] щупал лодку корявыми пальцами, нюхал её, ковырял, хлопал по надутым бортам и сказал с уважением:

— Воздуходувная вещь!

После этих слов лодка была признана всем населением деревни, а рыбаки нам даже завидовали.

Но страхи не прошли. У лодки появился новый враг — Мурзик.

Мурзик был недогадлив, и потому с ним всегда случались несчастья: то его жалила оса — и он ва-

[1] В одном из рассказов К. Паустовского «Последний чёрт» дед так объяснял своё прозвище: «В больнице я лежал. Доктор прямо удивился. «От тебя, говорит, Митрий, по медицинской видимости, осталось не боле как десять про́центов».

лялся с визгом по земле и мял траву, то ему отдавливали лапу, то он, воруя мёд, измазывал им мохнатую морду до самых ушей. К морде прилипали листья и куриный пух, и нашему мальчику приходилось отмывать Мурзика тёплой водой.

Но больше всего Мурзик изводил нас лаем и попытками сгрызть всё, что ему попадалось под руку.

Лаял он преимущественно на непонятные вещи: на рыжего кота, на самовар, примус и на ходики.

Кот сидел на окне, тщательно мылся и делал вид, что не слышит назойливого лая. Только одно ухо у него странно дрожало от ненависти и презрения к Мурзику. Иногда кот взглядывал на щенка скучающими наглыми глазами, как будто говорил Мурзику:

«Отвяжись, а то так тебя двину...»

Тогда Мурзик отскакивал и уже не лаял, а визжал, закрыв глаза.

Кот поворачивался к Мурзику спиной и громко зевал. Всем своим видом он хотел унизить этого дурака. Но Мурзик не унимался.

Грыз Мурзик молча и долго. Изгрызенные и замусоленные вещи он всегда сносил в чулан, где мы их и находили. Так он сгрыз книжку стихов, подтяжки Рувима и замечательный поплавок из иглы дикобраза — я купил его по случаю за три рубля.

Наконец Мурзик добрался до резиновой лодки.

Он долго пытался ухватить её за борт, но лодка была очень туго надута, и зубы скользили. Ухватить было не за что.

Тогда Мурзик полез в лодку и нашёл там единственную вещь, которую можно было сжевать, — резиновую пробку. Ею был заткнут клапан, выпускающий воздух.

Мы в это время пили в саду чай и не подозревали ничего плохого.

Мурзик лёг, зажал пробку между лапами и заворчал — пробка ему начинала нравиться.

Он грыз её долго. Резина не поддавалась. Только через час он её разгрыз, и тогда случилась совершенно страшная и невероятная вещь: густая струя воздуха с рёвом вырвалась из клапана, как вода из пожарного шланга, ударила в морду, подняла на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух.

Мурзик чихнул, взвизгнул и полетел в заросли крапивы, а лодка ещё долго свистела, рычала, и бока её тряслись и худели на глазах.

Куры раскудахтались по всем соседским дворам, а рыжий кот промчался тяжёлым галопом через сад и прыгнул на берёзу. Оттуда он долго смотрел, как булькала странная лодка, выплёвывая толчками последний воздух.

После этого случая Мурзика наказали. Рувим нашлёпал его и привязал к забору.

Мурзик извинялся. Завидев кого-нибудь из нас, он начинал подметать хвостом пыль около забора и виновато поглядывать в глаза. Но мы были непреклонны — хулиганская выходка требовала наказания.

Мы скоро ушли за двадцать километров, на Глухое озеро, но Мурзика не взяли. Когда мы уходили, он долго визжал и плакал на своей верёвке около забора. Нашему мальчику было жаль Мурзика, но он крепился.

На Глухом озере мы пробыли четыре дня.

На третий день ночью я проснулся оттого, что кто-то горячим и шершавым языком вылизывал мои щёки.

Я поднял голову и при свете костра увидел мохнатую, мокрую от слёз Мурзикину морду.

Он визжал от радости, но не забывал извиняться: всё время подметал хвостом сухую хвою по земле.



На шее его болтался обрывок разгрызенной верёвки. Он дрожал, в шерсть его набился мусор, глаза покраснели от усталости и слёз.

Я разбудил всех. Мальчик засмеялся, потом заплакал и опять засмеялся. Мурзик подполз к Рувиму и лизнул его в пятку — в последний раз попросил прощения. Тогда Рувим раскупорил банку тушёной говядины — мы звали её «смакатурой» — и накормил Мурзика. Мурзик сглотал мясо в несколько секунд.

Потом он лёг рядом с мальчиком, засунул морду к нему под мышку, вздохнул и засвистел носом.

Мальчик укрыл Мурзика своим пальто. Во сне Мурзик тяжело вздыхал от усталости и потрясения.

Я думал о том, как, должно быть, страшно было такому маленькому пёсику бежать одному через ночные леса, вынюхивая наши следы, сбиваться с пути, скулить, поджав лапу, слушать плач совы, треск веток и непонятный шум травы и, наконец, мчаться опрометью, прижав уши, когда где-то, на самом краю земли, слышался дрожащий вой волка.

Я понимал испуг и усталость Мурзика. Мне самому приходилось ночевать в лесу без товарищей, и я никогда не забуду первую свою ночь на Безымянном озере.

Был сентябрь. Ветер сбрасывал с берёз мокрые и пахучие листья. Я сидел у костра, и мне казалось, что кто-то стоит за спиной и тяжело смотрит в затылок. Потом в глубине зарослей я услышал явственный треск человеческих шагов по валежнику.

Я встал и, повинуясь необъяснимому и внезапному страху, залил костёр, хотя и знал, что на десятки километров вокруг не было ни души. Я был совсем один в ночных лесах.

Я просидел до рассвета у потухшего костра. В тумане, в осенней сырости над чёрной водой

поднялась кровавая луна, и свет её казался мне зловещим и мёртвым...

Утром мы взяли Мурзика с собой в резиновую лодку. Он сидел тихо, расставив лапы, искоса посматривал на клапан, вилял самым кончиком хвоста, но на всякий случай тихо ворчал. Он боялся, что клапан опять выкинет с ним какую-нибудь зверскую штуку.

После этого случая Мурзик быстро привык к лодке и всегда спал в ней.

Однажды рыжий кот залез в лодку и тоже решил там поспать. Мурзик храбро бросился на кота. Кот словчился, ударил Мурзика лапой по ушам и со страшным шипом, будто кто-нибудь плеснул воду на раскалённую сковородку с салом, вылетел из лодки и больше к ней не подходил, хотя ему иногда и очень хотелось поспать в ней. Кот только смотрел на лодку и Мурзика из зарослей лопухов зелёными завистливыми глазами.

Лодка дожила до конца лета. Она не лопнула и ни разу не напоролась на корягу. Рувим торжествовал.





## ЖИЛЬЦЫ СТАРОГО ДОМА

Неприятности начались в конце лета, когда в старом деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы.

Однажды чёрный кот Степан сидел, как всегда, на крыльце и, не торопясь, умывался. Он лизал растопыренную пятерню, потом, зажмурившись, тёр изо всей силы обслюненной лапой у себя за ухом. Внезапно Степан почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся и замер с лапой, заложенной за ухо. Глаза Степана побелели от злости. Маленький рыжий пёс стоял рядом. Одно ухо у него завернулось. Дрожа от любопытства, пёс тянулся мокрым носом к Степану — хотел обнюхать этого загадочного зверя.

— Ах, вот как!

Степан изловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху.

Война была объявлена, и с тех пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Нечего было и думать о том, чтобы лениво тереться мордой о косяки рассохшихся дверей или валяться на солнце около колодца. Ходить приходилось с опаской, на цыпочках, почаще оглядываться и всегда выбирать впереди какое-нибудь дерево или забор, чтобы вовремя удрать от Фунтика.

У Степана, как у всех котов, были твёрдые привычки. Он любил по утрам обходить заросший чистотелом сад, гонять со старых яблонь воробьёв, ловить жёлтых бабочек-капустниц и точить когти на сгнившей скамье. Но теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору, неизвестно зачем обтянутому заржавленной колючей проволокой и к тому же такому узкому, что временами Степан долго думал, куда поставить лапу.

Вообще в жизни Степана бывали разные неприятности. Однажды он украл и съел плотицу вместе с застрявшим в жабрах рыболовным крючком — и всё сошло. Степан даже не заболел. Но никогда ещё ему не приходилось унижаться из-за кривоногой собаки, похожей на крысу. Усы у Степана вздрагивали от негодования.

Один только раз за всё лето Степан, сидя на крыше, усмехнулся.

Во дворе, среди курчавой гусиной травы, стояла деревянная миска с мутной водой — в неё бросали корки чёрного хлеба для кур. Фунтик подошёл к миске и осторожно вытащил из воды большую размокшую корку.

Сварливый голенастый петух, прозванный Горлачом, пристально посмотрел на Фунтика одним глазом. Потом повернул голову и посмотрел другим

глазом. Петух никак не мог поверить, что здесь, рядом, среди бела дня происходит грабёж.

Подумав, петух поднял лапу, глаза его налились кровью, внутри у него что-то заклокотало, как будто в петухе гремел далёкий гром. Степан знал, что это значит, — петух разъярился.

Стремительно и страшно, топая мозолистыми лапами, петух помчался на Фунтика и клюнул его в спину. Раздался короткий и крепкий стук. Фунтик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным воплем бросился в отдушину под дом.

Петух победно захлопал крыльями, поднял густую пыль, клюнул размокшую корку и с отвращением отшвырнул её в сторону — должно быть, от корки пахло псиной.

Фунтик просидел под домом несколько часов и только к вечеру вылез и сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнаты. Морда у него была в пыльной паутине, к усам прилипли высохшие пауки.

Но гораздо страшнее петуха была худая чёрная курица. На шее у неё была накинута шаль из пёстрого пуха, и вся она походила на цыганку-гадалку. Купили эту курицу напрасно. Недаром старухи по деревне говорили, что куры делаются чёрными от злости.

Курица эта летала, как ворона, дралась и по нескольку часов могла стоять на крыше и без перерыва кудахтать. Сбить её с крыши, даже кирпичом, не было возможности. Когда мы возвращались из лугов или из леса, то издалека была уже видна эта курица — она стояла на печной трубе и казалась вырезанной из жести.

Нам вспоминались средневековые харчевни — о них мы читали в романах Вальтера Скотта. На крышах этих харчевен торчали на шесте жестяные петухи или куры, заменявшие вывеску.

Так же как в средневековой харчевне, нас встречали дома бревенчатые тёмные стены, законопаченные жёлтым мхом, пылающие поленья в печке и запах тмина. Почему-то старый дом пропах тмином и древесной трухой.

Романы Вальтера Скотта мы читали в пасмурные дни, когда мирно шумел по крышам и в саду тёплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой и прозрачной струёй из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зелёная лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась и только моргала.

Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под рукомойником. Раз в минуту ей капала на голову из рукомойника холодная вода. Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в средние века самой страшной пыткой было вот такое медленное капанье на голову ледяной воды, и удивлялись лягушке.

Иногда по вечерам лягушка приходила в дом. Она прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы.

Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал лягушку. Но потом мы догадались, что лягушка приходила смотреть на яркий огонь так же, как дети собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном загадочную сказку. Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших в ламповом стекле зелёных мошек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, где, если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звёздами.

Лягушка так увлекалась этой сказкой, что её приходилось щекотать палкой, чтобы она очнулась и ушла к себе, под сгнившее крыльцо, — на его

ступеньках ухитрялись расцветать одуванчики.

Во время дождя кое-где протекала крыша. Мы ставили на пол медные тазы. Ночью вода особенно звонко и мерно капала в них, и часто этот звон совпадал с громким тиканьем ходиков.

Ходики были очень весёлые — разрисованные пышными розанами и трилистниками. Фунтик каждый раз, когда проходил мимо них, тихо ворчал — должно быть, для того, чтобы ходики знали, что в доме есть собака, были настороже и не позволяли себе никаких вольностей — не убегали вперёд на три часа в сутки или не останавливались без всякой причины.

В доме жило много старых вещей. Когда-то давно эти вещи были нужны обитателям дома, а сейчас они пылились и рассыхались на чердаке и в них копошились мыши.

Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и среди разбитых оконных рам и занавесей из мохнатой паутины находили то ящик от масляных красок, покрытый разноцветными окаменелыми каплями, то сломанный перламутровый веер, то медную кофейную мельницу времён Севастопольской обороны, то огромную, тяжёлую книгу с гравюрами из древней истории, то, наконец, пачку переводных картинок.

Мы переводили их. Из-под размокшей бумажной плёнки появлялись яркие и липкие виды Везувия, итальянские ослики, убранные гирляндами роз, девочки в соломенных шляпах с голубыми атласными лентами, играющие в серсо, и фрегаты, окружённые пухлыми мячиками порохового дыма.

Как-то на чердаке мы нашли деревянную чёрную шкатулку. На крышке её медными буквами была выложена английская надпись: «Эдинбург. Шотландия. Делал мастер Гальвестон».



Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с неё пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук.

Это была музыкальная шкатулка. Мы завели её, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз — шкатулка была испорчена.

За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере Гальвестоне. Все сошлись на том, что это был весёлый пожилой шотландец в клетчатом жилете и кожаном фартуке. Во время работы, обтачивая в тисках медные валики, он, наверное, насвистывал песенку о почтальоне, чей рог поёт в туманных долинах, и девушке, собирающей хворост в горах. Как все хорошие мастера, он разговаривал с теми вещами, которые делал, и рассказывал им их будущую жизнь. Но, конечно, он никак не мог догадаться, что эта чёрная шкатулка попадёт из-под бледного шотландского неба в пустынные леса за Окой, в деревню, где только одни петухи поют, как в Шотландии, а всё остальное совсем не похоже на эту далёкую северную страну.

С тех пор мастер Гальвестон стал как бы одним из невидимых обитателей старого деревенского дома. Порой нам даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он невзначай поперхнётся дымом из трубки. А когда мы что-нибудь сколачивали — стол в беседке или новую скворечню — и спорили, как держать фуганок или пригнать одну к другой две доски, то часто ссылались на мастера Гальвестона, будто он стоял рядом и, прищурив серый глаз, насмешливо смотрел на нашу возню. И все мы напевали последнюю любимую песенку Гальвестона:

Прощай, земля,— корабль уходит в море!
Прощай навек, мой тёплый отчий дом...

Шкатулку поставили на стол, рядом с цветком герани, и в конце концов забыли о ней.

Но как-то осенью, поздней ночью, в старом и гулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молоточками по колокольчикам, и из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия:

В милые горы
Ты возвратишься...

Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка. В первую минуту мы испугались, и даже Фунтик вскочил и слушал, осторожно подымая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь пружина.

Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления.

Шкатулка проиграла все свои песни, замолчала, и как мы ни бились, но заставить её снова играть мы не смогли.

Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленных комнатах, и, может быть, в непроглядные и тихие ночи она снова просыпается и играет, но её уже некому слушать, кроме пугливых мышей.

Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам её не просвистел пожилой скворец — он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой где-то страшно далеко, в густых лесах на берегу Нигера,

скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.

Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склёвывали крошки. У синиц были белые пушистые щёки, и когда синицы все сразу клевали, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков.

Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в весёлую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик.

Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика, мастера Гальвестона и скворца, были ещё приручённая дикая утка, ёж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дар Валдая» и барометр, всегда показывавший «великую сушь». О них придётся рассказать в другой раз — сейчас уже поздно.

Но если после этого маленького рассказа вам приснится ночная весёлая игра музыкального ящика, звон дождевых капель, падающих в медный таз, ворчанье Фунтика, недовольного ходиками, и кашель добряка Гальвестона — я буду думать, что рассказал вам всё это не напрасно.

